



Бернгард Рубен
Казакевич



16+

Бернгард Рубен
Казакевич

«ЛитРес: Самиздат»

2013

Рубен Б. С.

Казакевич / Б. С. Рубен — «ЛитРес: Самиздат», 2013

Эммануил Казакевич (1913-1962) вошел в историю русской литературы как автор правдивых свидетельств о Великой Отечественной войне – повестей «Звезда». «Двое в степи», «Сердце друга», романа «Весна на Одере». Видный российский литератор Б. Рубен нашел точную, объективную, непредвзятую интонацию и сумел раскрыть трагический конфликт между талантом Казакевича и системой советских ценностей. Перед нами биография Казакевича, написанная с сердечным сочувствием и документалистской проницательностью, биография, способная увлечь сегодняшнего, критически мыслящего читателя.

Содержание

Своевольный поэт	5
Параллелограмм судьбы	15
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Своевольный поэт

1

Война... Она ворвалась солнечным воскресным днем, наиболее продолжительном в году, и день этот вмиг померк, почернел. Позднее и само число 22 июня 1941 года приобрело от перелома жизни всего народа роковое начертание, отлилось в историческую *дату*, которую не позабыл ни один переживший ее человек. Но масштаб происходившей военной катастрофы не был известен жителям огромной части СССР, удаленной от смертоносного фронта, разверзшегося во весь западный поперечник страны. И вначале очень многие полагали, что это внезапное нападение Германии всего лишь проба сил, «наглая провокация», которая моментально разобьется о несокрушимый гранит нашей военной мощи, будет отражена нашей доблестной Красной Армией, а мы, как и провозглашал товарищ Сталин, ответим тройным ударом на удар поджигателей войны. Тем временем лавина вражеского вторжения уже покрывала города и села Украины, Белоруссии, Прибалтики с оставшимся там на месте населением, а беженцев с их скарбом несла впереди наступающих танков, под обстрелом хозяйничавших в небе фашистских самолетов...

От этих трагических месяцев до Великой Победы война длилась долгих четыре года с тяжкими отступлениями вплоть до самой Москвы, а затем и до Волги, с последующими кровопролитными наступлениями и многомиллионными людскими потерями, какие понес за этот срок весь народ. А среди тех фронтовиков, кто вернулся потом к мирной жизни, был и довоенный еврейский поэт, которого эта война превратила в русского писателя, прославившегося своими произведениями о ней. И которому, чтобы попасть в окопы и там, испытать в полной мере свою судьбу, увидеть и пережить все то, о чем он должен будет рассказать, пришлось отчаянно пробиваться сквозь целую череду людских преград на этом его заветном пути.

Великая Отечественная война застала Эммануила Казакевича в возрасте двадцати восьми лет, отцом двоих малолетних детей и профессиональным поэтом, писавшим по-еврейски, на идиш. Он жил тогда с семьей под Москвой, снимая маленькую квартирку в Песках, покинув совсем Биробиджан в 1937 году. В тот *тридцать седьмой*, также ставший приснопамятным годом, он приехал в Москву повидать сестру и знакомых. С собой он захватил написанную на биробиджанском материале пьесу в стихах «Молоко и мед», чтобы показать ее известным еврейским писателям, жившим в Москве. И здесь получил известие, что возвращаться ему домой сейчас нельзя. Что означало такое предупреждение, объяснять в те времена не требовалось: по стране катилась своя внутренняя война – лавина разоблачений и арестов «врагов народа». Он остался куда-то в Москве и вызвал жену с детьми, у них только что родилась вторая дочь.

Приехавшая жена рассказала о переименовании улицы, названной в честь его покойного отца. Эммануил с болью представил себе, как сбивают дорожные таблички с домов, поднявшихся на их глазах, при их участии. Эти таблички были не только его сыновней гордостью, они уже воплощали историю, стали памятью и признанием совершенных дел – его отец и также умершая здесь, в суровом краю, мать, и он сам прибыли в Биробиджан с родной Украины в период первоначального освоения этого глубинного таежного района, выделенного для еврейской национальной автономии на Дальнем Востоке. В то время громко разворачивалась индустриализация страны, и переселенцы из Украины, Белоруссии и даже из заграничной дали не задумывались, что обретение ими национального «очага», «обетованной земли» производится, как и все в стране Советов, по-большевистски, указкой человеческого перста. И Казакевич-стар-

ший, который был в «мирное время», до первой мировой войны, учителем еврейской благотворительной школы для бедных детей, став затем на Украине после Октября видным публицистом и литературным критиком, полностью посвятил себя национальному и культурному развитию своего народа, получившего еще во время Февральской революции все возможности полноправной жизни. Он вступил в коммунистическую партию. Его назначили редактором республиканской еврейской газеты и литературного журнала, позднее – директором республиканского еврейского театра. И по прибытии из столичного Харькова на Дальний Восток он возглавил здешнюю газету «Биробиджанер Штерн».

А приехавший ранее, первым из их семьи, восемнадцатилетний Эммануил с энтузиазмом корчевал тайгу, возводил на этой земле деревянные постройки, работал в газете, организовывал один из колхозов, заведовал местным радиовещанием, затем смело сделался начальником строительства капитального Дома культуры, наконец, создавал и был первым директором Биробиджанского театра. И – в любом амплуа – писал и переводил на идиш стихи, более всего Гейне с немецкого и Маяковского. Их дом, их семья были в этой глухомани, как ранее в столичном Харькове, бастионом культуры. И там, в Биробиджане, у Эммануила вышла первая книга стихов, с которой он вступил в Союз писателей.

Но – волны катившихся по стране массовых репрессий достигали во все края, и медвежьи углы тоже кипели в идеологической борьбе по примеру столиц, особенно там, где жители отличались грамотностью и эмоциональностью. В тот год везде яростно разоблачали прошлых и нынешних троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, искали и находили шпионов, диверсантов, вредителей, изошренно препятствующих построению социализма в СССР.

В Биробиджане тогда пустили слух, что Эммануил Казакевич, этот комсомольский поэт, яркая фигура среди колонистов и активный устроитель здешней жизни, еще вчера член областного комитета комсомола, арестован при переходе маньчжурской границы как японский шпион. Подобный слух мог исходить из самих «органов» для поддержания нужного им общественного уга. Но одновременно такая версия помогла, наверное, уцелеть ее объекту – ведь коли он пойман и арестован, так и ловить более не надо, по крайней мере, в других концах страны... При невиданном количественном захвате и пропускной способности советской мясорубки в ее работе недоставало немецкого педантизма и скрупулезности.

Какой-то срок, чтобы не ставить под удар родных и знакомых в Москве, его семья переждала в белорусской деревне, а сам он появлялся то там, то тут, вроде бы и не прятался, но был настороже и не задерживался долго на одном месте. Потом, через год, когда Сталин убрал (сперва переместил, затем и расстрелял) своего преданнейшего подручного, наркома внутренних дел Ежова, исполнившего заданную ему роль, (и тем самым указал народу на виновника очередного «перегиба»), когда схлынул девятый вал репрессий и даже был дан слегка задний ход, Эммануил перевез семью под Москву.

Теперь он полностью ушел в творчество. Писал свои стихи, переводил классику и современных поэтов. Он продолжал писать на еврейском языке. И переводил на еврейский язык. Был тесно связан с московским еврейским издательством. Вскоре у него издали здесь новую книгу стихов. Одновременно он закончил комедию в стихах, начатую в Биробиджане. К нему приехал режиссер Биробиджанского театра, обеими руками ухватился за его пьесу и поставил по ней спектакль, шедший с большим успехом. Затем он взялся за трагедию о Колумбе, в которой впервые стал переходить на русский язык, и начал киносценарий о Моцарте, тоже по-русски. Он писал много. Занимался в библиотеке, изучая материалы и разрабатывая сюжеты. Ему надо было утвердить себя в литературе и кормить целую семью. А накануне войны, в мае сорок первого, был подписан в печать его роман в стихах на идиш «Шолом и Хаве», вышедший в свет, когда сам автор уже воевал на дальних подступах к Москве.

Известие о войне Эммануил воспринял с мгновенно охватившим его чувством личной причастности к грянувшему событию. Его давно притягивала армия. Еще в Биробиджане он носил армейские галифе, военный френч с ремнями, суконную фуражку с красноармейской звездочкой, зимой надевал шинель. Большинство биробиджанских знакомых, написавших о нем впоследствии свои воспоминания, так и запомнили его «человеком в шинели». Одежда эта еще сильнее подчеркивала его высокий рост и худобу. Он походил на комиссара времен гражданской войны и военного коммунизма, держал в себе этот образ. Но когда он на какой-то момент снимал очки, его близорукие глаза поражали своей добротой, незащищенностью, открытой доверчивостью, и он напоминал уже не сурового комиссара, а скорее Пьера Безухова.

В армии однако он не служил – из-за сильной близорукости его признали начисто негодным к воинской службе и выдали «белый билет». Эммануил был огорчен, уязвлен: мужчина должен все познать, через все пройти, закалить себя в испытаниях. Его привлекала военная героика. И претило даже в чем-то почувствовать себя изгоем. Он пытался уйти в армию с помощью отца, главного редактора биробиджанской газеты и члена бюро обкома партии. Не получилось, хотя отец и просил за него. Не помогло и письменное обращение в Москву, к наркому обороны.

По той же причине он остался в стороне от всеобщей мобилизации, когда началась война. Но как только ударил набат московского народного ополчения, он ушел на фронт добровольцем. Он был членом Союза советских писателей, и его зачислили в писательскую роту. Сборы его состояли главным образом в покупке запасных очков. Он рассовал их по карманам, в вещмешок и явился для отправки. Шли самые первые недели войны, и еще не угасла надежда, что фашистский натиск скоро будет пресечен ответными ударами наших войск.

В эти уже ополченские недели Эммануил был полон энергии и оптимизма. На фоне преобладавшей вокруг твердой убежденности в быстрой победе он какой-то частью своего сознания воспринял ураган войны как вихрь, выхвативший его из четырехлетней писательской замкнутости, из трагедии в стихах о Колумбе, из сценария о Моцарте и Сальери, чтоб вновь унести в живую жизнь с ее тревогами, горем, надеждами. Всей взметнувшейся душой, после тягостных лет всеобщих подозрений и разоблачений, не только после собственного творческого отъединения, он остро ощутил свою сиюминутную нужность, локтевую связь со всеми людьми страны.

Характер его требовал действия и самоиспытания. Эммануил писал жене: «В строю и в учебе чувствую себя, как прирожденный солдат. Обо мне не беспокойся – я здоров, как бык!» Чуть бравируя, он давал понять, что не растерялся без домашней опеки. Тут же с уверенностью стойкого бойца он предписывал жене сохранять полное самообладание – «врага мы разобьем обязательно». Как сладко, как замечательно было иметь право на это *мы!* И знать подлинного врага. «...Какие бы ни были на первых порах поражения и отступления – верь в победу, как верю в это я».

В июле и августе его письма жене звучали как репортажи о собственном бодром настроении. Находясь с ополчением некоторое время во втором эшелоне, он сообщал о полученной перед строем благодарности; о том, что чувствует себя прекрасно, здоров, крепок, уверен в себе; что моральное состояние хорошее у всех, они едут в поезде, а запевалой – он; что боец он, оказывается, хороший и что коллектив у них спаянный; они все время в переходах...

В ополченской дивизии было полно ученых, литераторов, художников, архитекторов. Все они были брошены навстречу мощным клиньям рвущихся к Москве немецких войск, нисколько не считаясь с их явной обреченностью на гибель. Эммануил увидел много милых людей, сугубо штатских, вырванных из семьи, из своих кабинетов и мастерских, из привычного городского быта, неприспособленных к армейскому строю и полевой жизни, но старавшихся изо всех сил исполнить свои ратные обязанности. В этих условиях люди узнавались по-настоящему. И сам себя он узнавал заново и оставался доволен. В середине августа в письме жене он

подвел свои первые военные итоги: «Здесь сила воли подвергается решительному испытанию. Пока я испытание выдержал. В активе у меня – две благодарности и – правда, несбывшееся – назначение комсоргом роты. Для начала неплохо». В нем все еще бродила комсомольская юность. Назначение комсоргом не сбылось из-за перевода в отряд при особом отделе армии. Там он впервые подумал сделаться разведчиком. Но его вместе с товарищем по писательской роте опять передали в ополченскую дивизию, не в свою, в соседнюю.

Во всех этих военных пертурбациях Эммануил не забывал о своих покинутых сочинениях. Счет времени в жизни, как писал он жене, пошел у них на минуты и секунды, и в свободную секунду он думал о Колумбе, надеялся, что скоро сможет вновь взяться за него, старого друга...

В ополчении Эммануил был восхищен медсестрой Шурой Девяткиной. В ней поразительно слились солдатская храбрость и женская прелесть. Как в библейской героине. Он писал о ней стихи, пророчил орден Красной Звезды. Потерял он ее из виду, когда записался на курсы младших лейтенантов. Но не забыл, думал о ней.

Немцы прорывались к Москве, и обучаться курсантам приходилось под обстрелами, отходя с рубежа на рубеж. Под Гжатском курсантскую бригаду ввели в бой. На их полк обрушилась авиация, затем все живое конала немецкая артиллерия. Вслед за этим истреблением с дистанции вплотную надвинулась вражеская пехота, на ходу просекая пространство перед собой сплошным пулеметным и автоматным огнем. Эммануил стрелял из своего раскаленного «Максима» до последнего патрона в последней ленте, потом отбивался гранатами и винтовкой. Он не желал смириться перед силой фашистов. О себе он помнил одно-единственное – то, что для него, Эмы Казакевича, ни при каких обстоятельствах, даже в беспомощности тяжелого ранения, немецкого – гитлеровского – плена нет.

Полк, как и вся бригада, был разбит и рассеян. Уцелевшие курсанты, так и не ставшие офицерами, отступали и выходили из окружения мелкими группами. Эммануил взял на себя командование взводом. Потом эти группы вновь объединялись на дорогах, уже в тылу подошедших свежих войск.

Вместо фронтовой курсантской бригады на ходу формировалась запасная, вбиравшая в себя остатки разбитых частей. Бригада расположилась в городе Владимире. Вид у Эммануила был измученный. Он хромотал: сильная потертость ноги перешла в воспаление. Но – никаких жалоб, чтобы, упаси господь, ни у кого и мысли не возникло, что он, недавний ополченец, не годен к строю или, еще того хуже, будто сам метит куда-нибудь «в обоз». Недели три он побыл полковым библиотекарем. Прикосновение к разрозненным случайным книжкам, собранным местными властями для бойцов, было для него живительно.

В этот момент судьба причудливо для армейских условий свела его с командиром их полка Захаром Петровичем Выдриганом.

2

Их быстро притянуло друг к другу. Началось со стихотворного рапорта, в котором рядовой Казакевич докладывал командиру полка о том, что он – несчастный библиотекарь, ни в каком подразделении не значится в списках, и нет до него дела ни начальнику продовольственно-фуражной службы, ни обозно-вещевой, и никак он не добьется поменять свои рваные обмотки... Выдриган прочел рапорт вслух, улыбаясь и покручивая ус. За весь свой долгий командирский путь ему не приходилось получать среди деловых бумаг ничего подобного. Обращение в стихах свидетельствовало о человеке культурном и остроумном. А Выдриган ценил в людях и то, и другое. Конечно, подать командиру полка это сочинение мог только насквозь штатский человек. Однако шпилька насчет живой души, не занесенной где-то в список и оттого как бы и не существующей в полку, вставлена была точно.

Выдриган приказал вызвать библиотекаря. На первый взгляд он показался ему «доходягой»: тощий, прихрамывает. Но держался этот очкарик с достоинством и сразу заявил, что библиотека для него временное занятие, пока болит нога. Они разговорились. Выдриган, прочувствовавший всего три года в церковно-приходской школе и всю жизнь тянувшийся к знаниям, быстро определил, что перед ним ходячая энциклопедия. Заинтересовало, что ополченец, оказывается, писатель. Правда, никаких его произведений он не читал, да и фамилии не слышивал, но членский билет подтверждал – перед ним писатель. Кроме интереса, ополченец вызвал и симпатию. Командир полка знал, что к тому времени, к концу сорок первого года, остатки ополченцев – кто не погиб летом и осенью – были уже отозваны из армии или распределены там применительно к их гражданским профессиям. А этот никуда из строя не просился и был намерен снова попасть на передовую, где уже хватанул лиха. Выяснилось, к тому же, что они земляки, оба с родной Украины.

Через несколько дней пришел приказ образовать в полку роту краткосрочной подготовки младших лейтенантов, и Выдриган зачислил туда грамотея-ополченца, несмотря на его близорукость. И Эммануил Казакевич стал офицером.

О своих служебных успехах он сообщил жене: «Итак, как видишь, я “в чинах”. В Москве обязательно сфотографируюсь и pošлю тебе фотографию – пусть хоть детки посмотрят на своего папу-лейтенанта». Ирония прикрыла его удовлетворение произошедшим.

В это время у него определился последующий этап в его службе вместе с Выдриганом, и он откровенно-приподнято написал своему другу по ополчению Д. Данину, с которым сошелся в писательской роте: «Я адъютант командира части, и притом – командира прекрасного, прошедшего огонь и воду, подполковника, достойного быть генералом».

...Спустя годы (война давно прошла, и уже умер Казакевич) генерал-майор в отставке Выдриган расскажет в телевизионной передаче об их с Казакевичем службе и дружбе: «Эммануил Генрихович понравился мне своей прямоотой и смелым суждением о жизни и армейских порядках. В его суждениях я увидел своего единомышленника. Предложил ему стать моим адъютантом, и он согласился».

Было очевидно, что с точки зрения «сбегать-принести, подать-убрать, смекнуть-устроить» – в такие адъютанты Казакевич не годился. У него была собственная мерка обязанностей, и свою должность в полку он считал весьма ответственной. Выдриган все это понял сразу, но ему как раз и хотелось иметь рядом такого помощника. Потому-то он и взял его к себе вместо прежнего. Они оба нашли друг друга.

В качестве адъютанта Эммануил полагал себя сподвижником командира полка. По этой связи считал, что его слово неизбежно воспринимается, как слово самого командира, и постарался, чтобы слово это было дельное и умное. Он взял под свой надзор полковой пищеблок, следя, чтобы скудный тыловой паек без утечки доходил до курсантов; беспокоился, чтоб после долгих занятий в поле, на морозе, они могли бы отогреться и просушиться; заботился и о пище духовной – чтоб люди знали сводки с фронта, зажигательные статьи писателей, трогающие душу стихи.

Он не дергал командира полка по каждому мелкому поводу. Тем паче – *не докладывал* ему на офицеров. Но если оказывалось необходимым где-либо утвердить справедливость, пресечь корысть, навести должный порядок, Эммануил в открытую направлял туда его строгость и власть.

Зная, что Выдриган полюбил его, он тем более не давал себе поблажек. К тому же он, находясь на виду, чувствовал, что за его поступками пристально следят многие сослуживцы. Все это оттачивало поведение. Когда в полку проводились командирские занятия – в открытом поле, зимой, часов по восемь кряду, да по тыловому обеспечению без валенок и полушубков – Эммануил всегда вставал в общий офицерский строй, не пользуясь специфическими привилегиями адъютантов. Он проявлял свое достоинство не в сомнительных привилегиях, но в том,

чтобы быть, как все, и быть самим собой, не превращать должность в тепленькое местечко, оставаться офицером, командиром. И Выдриган ценил это в нем. А Эммануил увидел в Выдригане героя – отважного разведчика первой мировой войны, командира партизанского отряда войны Гражданской, наконец, командира полка Великой Отечественной, который вывел свой полк из окружения, был тяжело ранен разрывной пулей, настоял вопреки медицинской комиссии на своем возвращении в армию. Вот на чем замешивались их отношения.

От тех времен сохранились фотографии. На одном из снимков они стоят: командир полка – с мушкетерской бородкой и подкрученными кверху стрелками усов, уверенно-спокойный, ладный, влитый в давно привычную гимнастерку, коверкотовую, с тремя шпалами в петлицах, а рядом подтянутой струной – его адъютант, тонкий, старательно заправленный, в очках, со щетиной усов, в гимнастерке заметно попроще и с одним всего-то «кубарьком» в петличке, зато в самом что ни на есть добротном, старшего комсостава, довоенном ремне с латунной массивной пряжкой-звездой, подаренном ему Выдриганом, а сам командир полка подпоясан обыкновенным офицерским ремнем, какой выдавали и старшим, и младшим. Оба – в фуражках, и фуражка по-юношески худоватого младшего лейтенанта толику возвышается над более фасонистой фуражкой подполковника. На другом снимке, сделанном тогда же, они поменялись местами, сели и взяты по грудь. Напряжение первого снимка ушло; на мушкетерском лице Выдригана (бритая лысина скрыта головным убором, как париком) – легкая полуулыбка, словно струящаяся по щегольски закрученным кверху кончикам усов, а Эммануил, чуть-чуть за ним, улыбается широко, радостно – видны белая полоса его зубов и веселые глаза из-за круглых очков. Атос и д'Артаньян из Шуи. (Там находился их полк в то время.)

При всем поэтическом складе натуры Эммануил обладал трезвым практическим умом и организаторской хваткой – когда дело касалось общественных интересов или нужно было помочь кому-то другому, не себе. Сказывался жизненный опыт, полученный им еще в Биробиджане, где ему приходилось решать самые фантастические, как всем представлялось, хозяйственные и организаторские задачи. Для него армейская жизнь не замыкалась наглухо в рамках уставов. Ничего страшного не было в том, чтобы в самые морозы при задержке их запасному полку зимнего обмундирования воспользоваться для утепления штатской одеждой, имевшейся на станционном складе. Он разведкал этот склад – там хранились вещи мобилизованных на фронт. Конечно, в полку несколько нарушалась форма одежды. Но ведь только на время и для того, чтобы люди не заболели и можно было продолжать полным ходом боевую учебу, готовить для фронта пополнение...

Он взваливал на себя заботы, которые прямо к нему не относились, подставляя свои плечи там, где бездеятельные или нерасторопные начальники оставались в стороне. И если требовалось «пробить» что-либо необходимое для полка, Выдриган надеялся на своего Эму, как он его стал называть.

Эммануил жил внутренне покойно в те три-четыре месяца, когда, став офицером и адъютантом, входил в свою новую должность и положение. Только что произошло, наконец, долгожданное радостное событие на фронте – крепким контрударом отшибли немцев от столицы. Вспыхнула уверенность, что тяжкие военные поражения остались позади, в страшном и горестном сорок первом. Новый год начинался с важных перемен и в ходе войны, и в его собственной военной судьбе.

Он энергично вырабатывал в себе армейского командира. Образец был у него перед глазами, и все стороны полковой жизни были открыты перед ним. Так предоставилась ему давно желанная возможность приобщиться по-настоящему к армейской службе. И Эммануил полностью обрел себя в ней, слился с нею. Все это помогло ему преодолеть то оупение, которое охватило его, необученного ополченца, после трагедии октябрьско-ноябрьского отступления к Москве.

И здесь, в полку, он прошел столь понадобившийся ему потом практический «курс военных наук». Запасная бригада готовила для фронта сержантов, и он был удовлетворен приносимой им пользой: «Чувствую я себя хорошо и искренне доволен, что я в армии и посильно помогаю борьбе с противником. Особенно это чувство укрепилось во мне после пятидневного пребывания в Москве... Нет, каждый мыслящий человек должен теперь быть в армии, если только он не женщина и не баба», – написал Эммануил жене.

Служебные обязанности, не умножай он их собственной активностью, оставляли бы ему немало свободного времени. Но это не соответствовало его характеру и понятию долга, а кроме того, свободное время сейчас тяготило бы его и по тому вдруг обозначившемуся внутреннему разладу, который касался самого сокровенного – его литературного творчества. Потребность творчества не исчезла, нет, и тоска по своим писаньям, оборванным войной, накатывалась на него с неподвластной силой. Возникали и новые замыслы. Но внезапно у него пропала всегдашняя способность *писать*: сама эта способность уверенного воплощения мысли в слове как бы отделилась от него, отлетела, быть может, куда-то недалеко и ненадолго, но ее не было. И полковой круговорот с утра до ночи помогал ему уживаться с самим собой.

В то же время, захваченный новыми для него обязанностями, Эммануил постоянно вспоминал своих товарищей по ополчению, переживал их судьбу, пытался осмыслить происшедшее. При отступлении и потом, в запасной бригаде, он мучительно тревожился о Шуре Девятикиной – не попала ли она в руки немцев, самоотверженно спасая раненых. Он неотвязно думал о ней, спрашивал о ней в письмах своего друга по ополчению. «Ты не можешь даже представить себе, как она не выходит у меня из головы. Мне тяжело представить себе, что произошло, если она оказалась в плену. Это почти как любовь, и, конечно, не любовь, а сожаление. И еще что-то», – писал он из Шуи Д. Данину. Но разве всегда точно определишь свои чувства? В глубине души Эммануил верил, что он пророк. И поскольку он предсказывал ей орден, он долго искал ее имя во всех газетах, прежде всего в списках награжденных. Не находил. И все-таки надеялся на свое пророчество, на то, что она жива.

А подтвердилось другое его провидение, печальное. В том полку ополченской дивизии, где он встретил Шуру, он близко познакомился с литературным критиком Борисом Гроссманом. Эммануил помогал, чем мог, этому неумелому и беззащитному человеку. И с тяжелым сердцем видел, что тот вряд ли сумеет выбраться, если они попадут в окружение. Получив в Шуре долгожданное письмо от Д. Данина, он отвечал:

Что касается Бориса Гроссмана, я был почти уверен, что с ним будет так, как, вероятно, и было. Но и теперь я почти уверен, что он как-нибудь явится. Мне вообще иногда кажется (вероятно, потому, что я остался в живых), что всё – игра какого-то хитренького бога, который забавляется, заставляя людей играть в прятки. И хотя многие исчезают, но скоро они явятся, запыхавшиеся, радостные и гордые, рассказывая были и небылицы.

Правда, к Гуриштейну это не относится. И к Крымову это не относится. И, вероятно, ко многим это не относится. Но это уже недоразумение. Они просто, заблудившись, нашли лучшее место для жилья, что ли. Может – там цветы, весна, черт его знает. А может – и они еще явятся. Ну, хватит.

У него было много друзей в полку. Были, естественно, и недруги, косо глядевшие на очкастого интеллигента, выслуживающегося перед командиром и сующего свой нос куда не просят. Но поставил он себя твердо и при надобности умел выразительно объясниться с представителем любого социального слоя, не уступая в такой личной стычке ни рабочему классу, ни колхозному крестьянству.

И шла вся эта его жизнь, как и у всех других, в ожидании само-собой разумеющейся скорой отправки на фронт. «Но на фронт еще не посылают, хотя пора бы уже, по совести говоря», – написал он Д. Данину в июне 1942 года.

По совести говоря...

Как вдруг он узнает, что командир полка, тяжело раненный в начале войны и еле-еле уговоривший высокое начальство оставить его после госпиталя в кадрах, хотя бы в тылу, теперь добивается направления в действующую армию. Вот она, хватка бывалого воина! Эммануил тотчас обратился к нему с рапортом: «Возьмите с собой и меня... Можете не сомневаться в том, что я готов на любые невзгоды и на смерть, если она будет необходима для победы». Он и сам уже был полностью готов и желал отправиться на фронт по первому же приказу, но почин командира побудил к личному шагу. И не его одного. Рапорта в полку подали многие офицеры – такова была тяга на фронт и сила примера. Командиру полка отказали; наступило временное затишье – уже без прежнего удовлетворения и равновесия.

Перемена для Эммануила тем не менее нагрянула скорая и нежданная. Как члена Союза писателей его перевели из районной Шуи, где стоял полк, во Владимир в только что созданную бригадную газету. Адьютантом у Выдригана он пробыл полгода. В письме жене он подчеркнул: «Таким образом, меня, неожиданно для меня самого и без каких-либо просьб с моей стороны, вернули некоторым образом к моей довоенной специальности. Что ж, хотя и не хотелось уезжать от друзей в полку, но, вероятно, все к лучшему».

Газета была для него давно знакомой обителью. Он включился в работу с ходу, со всей присущей ему энергией и добросовестностью. Он отдавал себе отчет в нужности и этой работы. Но внутренний счетчик отбивал свое, тревожил, торопил, и Эммануил именно здесь все с большей и большей настойчивостью стал просить бригадное начальство об отправке его на фронт. По житейской своей прямоте он не сразу постиг, что обращения эти для него бесплодны. А когда уразумел, взял выше рангом и во время командировок в Москву бил в ту же точку по всем линиям, где только имел возможности. В Союзе писателей говорил о своих творческих планах, для осуществления которых автору необходимо личное участие в боевых действиях. И влиятельные писатели, надевшие военную форму и получившие в армии сразу солидные чины, с пониманием соглашались: да, надо помочь молодому поэту. В политуправлении округа он жал на превосходное знание немецкого языка, на очевидную пользу, которую принесет как переводчик в любом штабе, разведывательных подразделениях или для контрпропаганды на немецкие войска – со знанием дела перечислял всевозможные варианты. В окружной газете, которая патронировала войсковые многотиражки, тоже просил по-братски подтолкнуть его направление – в печать или куда скажут, он на все согласен, лишь бы на фронт.

Выслушивали его внимательно. Но никакого желанного результата все эти переговоры ему так и не принесли. Компетентные офицеры политуправления отвечали без околичностей – нет, запасной бригаде тоже нужны кадры, и по всем статьям его место как раз там. Эммануил понимал, что они, помимо его литературной профессии, имеют в виду толстые стекла его очков. Некоторые старшие офицеры в разговорах с ним вздыхали, показывая, что сами тоже стремились и стремятся на передовую, однако долг обязывает каждого служить Родине там, где приказано, и вот они подчиняются своей участи. Надлежит и ему. Был еще один шанс, на который он долго, очень долго надеялся, – что их курсантская стрелковая бригада сменной чередой поедет в полном составе на фронт, о чем не раз толковал ему начальник политотдела, ссылаясь на общую директиву по армии и ожидаемый вот-вот приказ; убедительно толковал, доверительно, и в сорок втором году, и в сорок третьем...

В мае 43-го Эммануил писал жене: «Меня отсюда не хотят отпускать. Делают это из соображений деловых – я работаю хорошо, и из дружеских – нечего, мол, ехать на фронт. Сиди здесь – чем тебе плохо? Но этим мне делают медвежью услугу. Все равно – на фронт нужно идти...» По доверчивости души он так и не уяснил до конца, что происходило за кулисами его переговоров с начальством. Происходила же банальная история – «деловые и дружеские соображения» его ближайших начальников были небескорыстны. Всякий раз, когда Эммануил,

более или менее обнадеженный – «подумаем, посмотрим, поможем» – возвращался из политотдела бригады, туда отправлялся редактор со своим подбором доводов, по которым Казакевича никуда из редакции отпускать было нельзя.

Эммануил вытягивал редакционный воз на себе. Это было у него в крови – взваливать дело на свои плечи. Он увлекался работой, предлагал толковые идеи и сам же их осуществлял. Его блокнот был постоянно набит фамилиями и фактами, из которых он один, точно маг, сотворял за пару часов целую полосу. Однажды, их, офицеров, вызвали в день выпуска газеты на стрельбище для проверки личной огневой подготовки, они проторчали там до вечера, а материала для газеты не хватало и на половину номера, набор остановился. Выручил, как всегда, Эммануил. При такой палочке-выручалочке редактору вольготнее жилось во граде Владимире, можно было пользоваться радостями тыловой жизни.

В своих хождениях к начальнику политотдела редактор был настойчив и сметлив. А дальше все шло по схеме. Начальнику политотдела в первую очередь был нужен в бригаде *порядок*. «Порядок» с газетой обеспечивал добросовестный, писучий, политически грамотный Казакевич. С ним можно было не опасаться печатных ляпсусов, чреватых неприятностями, особенно опасными в военное время. И выходило: лишишь его – не оберешься хлопот с этой многотиражкой и со старшим лейтенантом без младшего. В газете же каждое напечатанное слово, как и написанное пером, не вырубешь топором... И обнадеживая его, выказывая ему свое понимание, начальник политотдела стопорил все его усилия в политуправлении округа. Там же никакого особого резона держаться за Казакевича не было, наоборот, непрестанно требовалось заменять офицеров – из тыла на фронт. Но и чтоб оставить его в запасной бригаде, причин выискивать не приходилось. И высокие слова находились. Таков получался расклад игры.

При этом раскладе ему было не избежать ошибок. Эммануил не чувствовал себя «младшим», напоминал начальству о данных обещаниях. И тогда его настойчивость оценивалась как строптивость и штатское своеволие...

Но в этот начальственный пасьянс, раскладываемый в бригаде на судьбу Казакевича, вдруг вторглась еще одна сильная карта. В начале апреля полковник Выдриган был вызван из Шуи в Москву в Главное управление кадров Красной армии. За месяц до того он подал на имя начальника ГУКа еще один, уже третий по счету, рапорт с просьбой отправить его на фронт. В написании этого рапорта участвовал и Эммануил. Рапорт сложился строгим, убедительным и прочувственным – в прошлом году Выдриган получил похоронные извещения на обоих своих сыновей, молодых командиров, пехотинца и летчика, и писал теперь о том, что находиться далее в тылу ему неимоверно тяжело. На сей раз рапорт не остался без ответа, и ответ был положительным. В тот момент, весной 1943 года, и фронт, и вся страна тревожно ожидали очередного летнего наступления немцев, в которое Германия непременно ринется всею своею сконцентрированной мощью и новоизобретенной техникой, чтобы взять реванш за оглушительное зимнее поражение под Сталинградом. Ставка Верховного главнокомандования производила усиление стратегических направлений новыми соединениями. Выдригана назначили заместителем командира 51 стрелковой дивизии, сформировавшейся в составе Западного фронта.

И все свои надежды вырваться из тыла в действующую армию Эммануил связывал ныне только с Выдриганом. То был его последний законный шанс. Они твердо условились обо всем, когда он провожал Выдригана из Шуи. И Выдриган тотчас по прибытии к месту назначения предпринял энергичные шаги для вызова его на фронт. О стараниях Выдригана было достаточно широко известно в бригаде, Эммануил испытывал приятное удовлетворение – такой большой начальник, полковник, желает вытребовать к себе не опытных воинов, старых знакомых служак, майоров и капитанов, а какого-то младшего лейтенанта, не кадрового совсем, да

еще в очках! К его удовлетворению прибавлялось нетерпение. Но внешне он держался безмятежно, видя, как в штабе удивляются этому странному выбору Выдригана.

Перевод, однако, затягивался, срывался. Беспокойство Эммануила отразилось в письме жене:

«О моей дальнейшей судьбе я еще ничего определенного не знаю. Думаю, что вскоре поеду навстречу неизвестному. Но это не должно тебя волновать. Нам на роду написано быть вместе, и мы будем вместе. Поэтому ты должна присоединить свои молитвы к моим стараниям попасть на фронт в дивизию, формируемую моим полковником... Меня отсюда не хотят отпускать...»

Жена, мать двоих детей *должна* была молить.

... Впоследствии, лет через двадцать, генерал в отставке Выдриган поведает в своих воспоминаниях:

«Эммануил Казакевич настаивал на том, чтобы его забрать на фронт. Откровенно говоря, мне было жаль и его и себя, потому что в случае разлуки я оставался без близкого друга и хорошего советчика.

Я знал, что законным путем никак не смогу взять Казакевича на фронт, тем более – к себе. Эма написал мне, что он так или иначе попадет на фронт, хотя бы через штрафной батальон.

Зная его характер, я боялся этого, боялся, что Казакевич пойдет на все...»

Все попытки Выдригана перевести его к себе в дивизию по должной форме натолкнулись на сильное противодействие бригадного начальства и отказ политуправления округа. Отсюда и знание того, что законным путем он не сможет забрать его на фронт. Отказано было и Казакевичу в просьбе послать его куда угодно, если нельзя к Выдригану, лишь бы в действующую армию.

Тогда у друзей и созрел план побега.

Параллелограмм судьбы

1

Эммануил Казакевич совершил побег из запасной бригады в ночь с 25 на 26 июня 1943 года. Он оставил несколько писем начальникам и сослуживцам.

По тому обороту, который тотчас приняло его дело, все эти письма сохранились, через десять лет, когда он уже стал известным писателем, нашлись и даже попали к нему, а затем были посмертно опубликованы вместе со многими другими письмами и документами военного периода его жизни.

Письмо командиру курсантской запасной стрелковой бригады было составлено в форме рапорта – «генерал-майору... от младшего лейтенанта...» и по-военному лаконично излагало причину и вызванное ею действие:

Товарищ генерал-майор!

В июле 1941 года я ушел на фронт добровольцем. С декабря 1941 года сижу я в тылу. Все последнее время я прошу отправить меня на фронт, много раз просил старших начальников помочь мне в этом деле. К сожалению, мне не помогли.

Теперь я уезжаю на фронт, зачисленный в 51 стрелковую дивизию на должность помощника начальника 2 отделения штаба дивизии (выписку из приказа по дивизии прилагаю).

Не сердитесь на меня, товарищ генерал, за мой внезапный отъезд. Надеюсь, что вы простите мне это, и уверен, что вы еще услышите обо мне как о боевом командире.

В письме начальнику политического отдела Эммануил объяснился всесторонне, без строгой официальности, положив руку на сердце:

Прощаясь с Владимиром, с бригадой, я прежде всего думаю о том, как вы посмотрите на мой отъезд. Мне было бы очень больно, если бы вы стали меня осуждать.

Я еду на фронт работать в разведке штаба дивизии. Я уверен в себе, в своих силах, а главное – в своей стойкости и стремлении стать настоящим боевым командиром.

Что ж, я знаю, что бригада многое мне дала в смысле воинского воспитания. Здесь вступил я в партию, и вы вручали мне партийный документ и дали мне лестную боевую характеристику.

Я вам благодарен за это. Благодарен я вам также за хорошее отношение ко мне.

Желание, горячее и непреодолимое, быть на фронте, активно бороться в рядах фронтовиков за наше дело – желание, о котором я вам много раз говорил, – вот причина моего внезапного отъезда.

С точки зрения житейской мне здесь жилось прекрасно.

Но у меня с немцами большие счеты – я коммунист, командир, писатель. Пора мне начать эти счеты сводить.

Думаю и уверен, что вам, товарищ майор, не придется краснеть за своего воспитанника, которому вы вручали кандидатскую карточку ВКП (б).

Я уже давно мог уехать, но меня останавливало чувство долга: я не мог оставить редакцию в составе двух человек. Теперь в редакции прибавился квалифицированный журналист, а второй литсотрудник, принятый в ВКП (б), может с успехом меня заменить.

Не поминайте лихом, тов. майор.

Надеюсь – мы еще увидимся за стаканом вина в час победы.

С приветом...

«Штатный недокомплект» – нехватка в редакции одного офицера-литсотрудника – был одним из главных доводов редактора против удовлетворения просьб Казакевича. Предлогом и доводом. И Эммануил приложил немало умелых стараний, чтобы перевести на вакантную должность из шуйского полка упоминаемого в этом письме журналиста. Он всегда жил по принципу товарищества и теперь никаких «долгов» у него перед редакцией не было. И никаких счетов или обид к начальнику политотдела он также в этом письме не высказывал, наоборот, только слова признательности...

А кандидатом в члены партии он вступил еще в полку Выдригана, спустя всего два месяца, как стал его адъютантом. Это был вполне естественный для него шаг – по мировоззрению и по своему представлению о великих целях этой единственной в стране партии, руководящей всем обществом. Тем более он считал необходимым быть в ее рядах во время войны с фашизмом.

Еще два письма. Майору, секретарю партийной комиссии, но не по службе, «а как старшему товарищу-коммунисту, который меня хорошо знает и которого я уважаю». Это письмо заключалось такой знаменательной фразой: «Тыловая жизнь, легкая для тела и тяжелая для души, – на этом кончается». И – совсем по-свойски, открытым сигналом на поддержку – старшему лейтенанту из политотдела, комсомольскому вожаку в бригаде: «Мой отъезд, возможно, вызовет чей-нибудь гнев. Нужно этот гнев умерять. Надеюсь на друзей. Будь здоров». В обоих письмах назывались многие работники штаба и политотдела бригады, которым Эммануил передавал лучшие пожелания и приветы, как бы производя смотр всех тех, кто не кинет в него камень, а, наоборот, поддержит его репутацию или, по крайней мере, сохранит в своем сердце добрую память о нем.

Было, конечно, и письмо редактору бригадной газеты «Боевые резервы»:

Друг Измалков!

Когда ты будешь читать это письмо, я буду уже приближаться к фронту – к предмету моих мечтаний на протяжении последнего года.

Думаю, что ты поймешь меня. Я просто понял, что волей судьбы я другим путем на фронт не попаду...

Тебе прекрасно известно, что жилось мне во Владимире превосходно, что работал я неплохо. И ты, и начальник политотдела ценили меня. Я ухожу не от плохой жизни к хорошей. Я хочу воевать, раз уже война на свете, да еще такая.

Не поминай меня лихом и прости, что я это делаю таким образом. Я хочу ехать на фронт и приносить делу победы максимальную пользу. А другого пути не вижу.

Прошу тебя – передай генералу выписку из приказа по 51сд и письма, которые я прилагаю.

Буду жив – увидимся.

г. Владимир Эм. Казакевич.

P.S. Дай прочесть этот прощальный стих моим товарищам.

ПРОЩАНИЕ

Моим владимирским друзьям посвящаю

Такая тишина! Как будто вымер
Весь город вдруг – такая тишина.

И только светит вечная луна
На древние валы твои, Владимир.

Пространство от оврагов до реки
Заполнено сказаньями седыми.
Вот на валах – дружины и полки,
Хоругви княжьи светятся над ними.

Проливший в битвах праведную кровь,
Став знаменит от Понта до Китая,
Сожженный трижды и возникший вновь,
Ты – предо мной. И я стою, мечтая,

И, глядя, вдаль, прощаюсь я с тобой.<...>

Вот в этом последнем письме он вспомнил о всех своих стараниях и перечислил всех старших офицеров в политуправлении округа и в окружной газете, к кому в искренней надежде обращался со своей единственной и такой простой, такой естественной просьбой. Напомнил он и о своих многократных разговорах с начальником политотдела и его заместителем. Теперь он надеялся на понимание и доброе к себе отношение человека, которого продолжал считать своим другом.

В каждом из написанных в ту ночь писем он непременно, словно заклинание, повторял фразу, что едет на фронт, зачисленный в 51 стрелковую дивизию на должность помощника начальника 2 отделения. Он желал верить, что у него уже есть такой «вид на жительство» в действующей армии. Накануне к нему прибыл сержант-нарочный, посланный лично Выдриганом, и привез пакет. В запечатанном конверте были документы: удостоверение о том, что младший лейтенант Казакевич Э.Г. назначается помощником начальника 2 отделения (разведки) штаба 51 стрелковой дивизии, и выписка из приказа частям дивизии по этому поводу. Выписка предназначалась для местного бригадного начальства в качестве хоть какого-то «официального» прикрытия его отъезда (потому он и приложил ее к рапорту на имя генерала), а справка-удостоверение с его фотографией – для беспрепятственного проезда в условиях военного времени, когда на каждом шагу его могли остановить патрули и задержать, как дезертира. Впрочем, юридически он, самовольно покидая свою запасную бригаду (поскольку «приказ» по 51-й дивизии не имел здесь никакой силы), и так оказывался в положении дезертира. И подлежал ответственности по законам военного времени.

Что касается самих присланных Казакевичу документов, то оформить их по своей договоренности с комдивом или начальником штаба Выдригану было несложно. Для этого даже не требовалось подлинного приказа по дивизии. Такой приказ, если затея не провалится, отдали бы задним числом.

...В годы первой мировой войны восемнадцатилетний Эрнест Хемингуэй с упорством одержимого добивался того, чтобы отправиться на фронт в Европу. Биограф сообщает, что после окончания школы он пытался завербоваться двенадцать раз, и всякий раз ему отказывали: наследственная близорукость была осложнена повреждением глаза, полученным на занятиях боксом. Тогда он, имея в виду когда-нибудь и литературную карьеру, поступил репортером в газету, уехав подальше от дома. В газете он проработал семь месяцев, повсюду успевал быть впереди – на пожарах, на местах убийств и грабежей. Но продолжал видеть себя на войне. В мае 1918 года юный Хемингуэй сумел записаться в автоколонну американского Красного Креста, направляемую на итало-австрийский фронт. Пусть санитаром – только на войну.

Вместе с другими новобранцами он промаршировал в Нью-Йорке мимо президента Вудро Вильсона и прибыл в Италию на участок фронта, где итальянские войска закрепились после отступления из-под Капоретто. Будничная работа в санитарной автоколонне на отдалении от переднего края не удовлетворила Хемингуэя, и он вызвался развозить на велосипеде по окопам фронтовые подарки, почту, литературу. За шесть дней, что он провел на передовой, в 50 метрах от австрийцев, Хемингуэй приобрел репутацию заговоренного от пули. На седьмой день его вместе с тремя итальянскими солдатами-слухачами, дежурившими на передовом посту, накрыла австрийская мина. Хемингуэй получил контузию, 227 мелких осколочных ранений (осколки из него выходили почти тридцать лет) и пулеметные ранения в ноги, когда он тащил на себе (и – дотащил, с прострелянными коленями и пробитой в двух местах ступней) раненого итальянца. В госпитале его несколько раз оперировали, поставили на место раздробленной коленной чашечки серебряную пластинку.

Неделя на передовой, три месяца госпиталя, затем короткая, менее месяца, служба лейтенантом в итальянских ударных частях, уже без боев, перед самым заключением перемирия, а всего полгода с момента отправки из Америки – этого Хемингуэю хватило, чтобы окунуться в войну с головой и спустя десять лет написать «Прощай, оружие!» (В том же 1929 году был опубликован и роман его немецкого сверстника Ремарка «На Западном фронте без перемен»).

Конечно, юный Хемингуэй горел желанием сражаться «за свободу и демократию», был смел, благороден, спортивен, хотел испытать себя, познать, что есть война. Все это неудержимо влекло его на фронт. Но, «разматывая» его биографию назад, – как не подумать, что им двигала и некая *неосознанная* необходимость, его – заложенная в нем – писательская суть, еще никак почти не проявленная (всего-то: участие в школьных литературных журналах и полугодовая работа репортера), ему самому неясная, пока подсознательная, но необоримая, ибо она – суть.

Казакевичу в 1943 году, в феврале, исполнилось 30 лет. Так что побег на фронт совершал не восторженный или одержимый потребностью самоиспытания и «смутным влечением чего-то жаждущей души» юноша.

На фронт бежал вполне зрелый человек, к тому же довоенный «белобилетник», попавший в армию через ополчение. Он уже испытал себя в бою, где вел себя храбро, слава Богу, уцелел, пережил опасности окружения, потрясение и горечь отступления. Так что совесть его могла бы быть спокойной... Еще одно обстоятельство: казалось бы, с переводом из полка в бригадную газету удачно сошлись его писательство и военная служба, он оказался действительно на своем месте и с успехом писал во всех жанрах – от передовицы до стихотворного фельетона. Находящиеся в армии писатели как раз и работали в военных газетах – от центральной «Красной звезды» до дивизионных и бригадных многотиражек. А его газета давала ему также возможность время от времени бывать в командировках на фронт – вместе с отправляемыми из бригады после обучения сержантами, за материалами о боевых делах здешних воспитанников. Многие писатели выезжали на фронт только в командировки, не говоря о тех, кто трудился вовсе вдали от фронта.

Отдавал он себе, конечно, отчет и в неправомерности приказа по 51 дивизии Западного фронта в отношении младшего лейтенанта, служащего в Московском военном округе (если вообще существовал этот незаконный приказ). Понимал, должен был понимать, что бумаги, присланные ему Выдриганом, с юридической точки зрения – «липа», которую не примет во внимание военный трибунал. Закон есть закон: оставление бригады (или, как дипломатично выражался Казакевич в письмах – «внезапный отъезд») совершалось самовольно. Не сдержала его и мысль о семье, о жене и двух малолетних дочках, бедовавших в эвакуации. Да и стремится-то он, профессиональный поэт, из военной газеты – в войсковую разведку, где и кадровым офицерам необходима специальная подготовка...

Каковы же были глубинные побуждения такого его решения? В письме редактору бригадной газеты есть строки: «...я хочу, искренне хочу быть на фронте. Это не поза “удальца”

или голые слова хвастуна. Это – вопрос моего горячего желания и, если хочешь, дальнейшей литературной жизни». Эммануил Казакевич обладал острым чувством истинного в себе. И – силой характера, чтобы не мириться с подменой и противиться принуждению. На фронт его вели патриотическое чувство, самоотверженность, ненависть к фашизму, характер бойца. Он должен был воевать. Он задыхался во Владимире. Он просто *не мог* высидеть в тылу, когда шла война. И год тщетных усилий не смирил его, наоборот, подвел к крайнему пределу. Для него не пройти через войну, не принять в ней самое активное участие, не познать ее со всею глубиной и остротой значило позорно загубить свою жизнь. Участие в войне с фашизмом было для него вопросом совести. «Где ты был, Адам? Я был *там*».

Одновременно и Литература тоже требовала *от него* все увидеть и все испытать самому, постичь всю беду и подвиг народа. Ибо он – *поэт* – был влечом и своею литературной Звездой и, ничего определенно не рассчитывая, но сознавая и эту свою внутреннюю необходимость, предчувствуя и готовя это свое будущее (если, конечно, оно вообще суждено ему), стремился туда, в бой, на передний край и в расположение врага, чтобы дать себе эту возможность – сделаться *писателем* Казакевичем. «Почему ты напишешь об этом? Я это *пережил*». Веление совести и чести соединилось у него с необходимостью, диктуемой литературным талантом. Ведь талант это не только дар Божий, это – судьба. Такое соединение и придало ему бесповоротной решимости.

И после войны ему не потребуются годы (как Хемингуэю или Ремарку), чтобы написать свою «Звезду» и «Двое в степи». Эти десять литературно-формирующих лет, обязательных почти в каждой писательской биографии, он прожил до войны...

Но пока осуществлять свое решение ему приходилось тоже «поэтическим» способом.

Что бы ни делал Эммануил Казакевич с первых дней войны, он оставался поэтом. Он писал стихи, вспоминал стихи других поэтов, поэзия жила в нем. И помогала ему выстоять. В ополчении они с Д. Даниным утешались стихами Пастернака. На курсах младших лейтенантов он вызывал в памяти «Незнакомку» Блока, чтобы на миг отключиться перед сном от всего окружающего. А отступая по дорогам Московской области, повторял тютчевские строки, сделавшиеся «страшно актуальными»:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги.
Друг мой милый, видишь ли меня?

Поэзия выражала и его собственный отклик на все, чем было затронуто сердце. Самый первый отклик был четверостишием на еврейском языке, которое он послал жене, когда стал рядовым 22 стрелкового полка 8 Краснопресненской дивизии Московского народного ополчения. Потом он принялся писать по-русски и понял, что стихом ему надо овладевать заново. Несколько стихотворений посвятил Шуре Девяткиной. Одно из них писалось как бы вообще о медсестре на фронте, но в те тяжкие недели было не до того, чтобы заботиться о напечатании. Такую попытку он предпринял уже в полку Выдригана в дни учебы на ускоренных курсах младших лейтенантов. Хотелось, конечно, подать свой голос, заявить о себе – жив поэт, работает, пишет, как многие. Пусть ведают друзья и знакомые. Он послал тогда в «Правду» новое стихотворение. Отправил поздновато и потому без надежды на опубликование. Будто нарочно раздумывал – посылать, не посылать – и послал не загодя, а так, чтоб опоздало само-теком и не напечаталось, и с тем больше не искушать себя... Единственная за войну попытка опубликоваться в большой прессе.

Вслед за тем он заявился в столицу собственной персоной. В этот первый его военный приезд в Москву, сразу же как он стал офицером и адъютантом Выдригана, судьба уготовила ему радостную встречу – с рукописью его «Моцарта». Рукопись оказалась на квартире сестры, у соседки. Сама сестра с детьми эвакуировалась. И вообще все вокруг изменилось. А не прошло и года с той недостижимой теперь поры, когда здесь, в Сокольниках, его встретил, как обычно, на пороге своей темной комнатки муж сестры, с которым они были дружны, и журналистская голова которого всегда была полна великолепными литературными проектами. На этот раз он подал Эммануилу мысль написать сценарий по пушкинскому «Моцарту и Сальери». Эммануил быстро согласился. Тогда в большой моде были музыкальные фильмы. Только что триумфально прошел по всем экранам «Большой вальс», сделавший Иоганна Штрауса любимцем рабочих и колхозников. И собственные творческие силы представлялись Эммануилу неограниченными. Он проглотил недавно изданные в Москве маленькие книжечки киносценариев американца Рискина, чтобы получить представление о том, как пишутся настоящие сценарии. Потом засел в библиотеке – читать все о Моцарте. Он прочел о нем у Стендаля, Роллана, Цвейга, в старинных книгах и восхитился образом Моцарта. Эммануил рисовал его себе гениальным ребенком и, не таясь перед собой, находил в Моцарте свойственные самому себе черты – странную смесь лени и необычайного трудолюбия, любви к разгулу и страсти к творчеству, скромности и чудовищного самомнения. Кончалась весна 1941 года. Написав ряд эпизодов, он воскресным утром 22 июня повез рукопись из своих Песков в Москву почитать друзьям...

Теперь, семь месяцев спустя, листки рукописи пожелтели, словно смертельная опасность, страдания, горечь, пережитые им, отразились и на них. Эммануил взял незаконченную рукопись с собой на улицу и читал ее в метро, в трамваях, на бульваре, читал с ликованием – так нравилось ему то, что он некогда написал. Он с новой силой загорелся своим сценарием. Моцарт помогал посмотреть вдаль, через сегодняшние заботы, ненависть и уничтожение. Эммануил вознамерился, не откладывая, завершить эту вещь: ведь война окончится, недостойные соотечественники Моцарта сполна получают то, что заслужили, но Моцарт останется вечно – пока солнце будет светить, а человеческое сердце чувствовать...

Сценарий он не закончил. Написал только предисловие, в котором рассказал об истории замысла, довоенной работе над ним и о своих чувствах при чтении рукописи теперь, во время войны. В курсантской стрелковой бригаде, в том сорок втором году двадцатого века не получилось у него погрузиться в век восемнадцатый даже в связи с вечным Моцартом. Оставил он затем и пьесу о войне, писавшуюся им на основе всего того, что видел и пережил в октябрь-ноябре на подступах к Москве.

Это был самый разгар его адъютантства, обретения навыков и знаний, необходимых на войне. Горький опыт показал, что воевать надо уметь, одним воодушевлением врага не победить. И это было время, когда он обнаружил, что не в состоянии по-прежнему продолжать свое писательство. Приезд в Москву вызвал у него много раздумий о своей творческой судьбе. Эммануил поделился ими с Д. Даниным:

Писать я не могу, ибо утратив один язык, я не обрел еще другого – это во-первых, или, вернее, во-вторых, и в сердце пусто – это во-вторых, или, вернее, во-первых.

...Когда я был в Москве, я видел Рубинштейна, Фурманского, Алигер, видел Маркиша, постаревшего..., видел выложенного шпалами С. И я начал подозревать, что мне, молчаливому поэту, не пишущему писателю, лучше, чем им. Что-то накапливается в сердце и не разбрызгивается понапрасну в поневоле пустых, ибо незрелых словах...

Иногда я начинаю тосковать по моим писаниям, особенно по трагедии о Колумбе, которую я оставил недописанной в буйном цвете 21 июня 1941 года. Будь со мной ты, я стал бы писать пьесу – есть у меня замысел – может быть, совместно с тобой. Но один я не могу приняться за что-либо, мне перестало хватать для этого двух глаз, двух ушей, двух рук.

И все же он питал надежду, что состояние творческой немоты рассеется, и он станет писать. В одну из ночей родилось стихотворение, где он, словно вызывая своих духов, произнес:

Стихами, человек, заговори.
И боль, хоть не пройдет, но станет сразу
Подобна трезвой тяжести вериг,
Доступна уху и приметна глазу.

Однако в той степени, какая была нужна для профессиональной работы, состояние это не исчезало. А его самого неотвратимо влекло на иной путь – в окопы, с оружием в руках.

Но писать стихи он продолжал. В их курсантском полку не было *своей* строевой песни. Пехота пела «В гавани, в далекой гавани, пары подняли боевые корабли» и «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Эти песни пели и другие полки. Но то – другие. И Эммануил сочинил песню для своего полка. Полковой дирижер положил ее на музыку, песню подхватила вся бригада. К полнейшему удовольствию Выдригана.

В августе сорок второго, получив сообщение жены о смерти ее отца, он посылает написанные ранее и посвященные ей стихи «Владимирская элегия». В одной из строф там говорилось:

Вот путь к тебе недалний на Восток.
На Западе ж – распятая Россия.
О, сколько солнц и лун пройдут свой срок!
Как бесконечен путь к вратам Батыя!
Пусть путь на Запад мрачен и далек –
Лишь Западом могу к тебе прийти я...

Стихи отражали и его тоску по жене, и тревогу во время летнего прорыва немцев к Волге, и неудовлетворенность своим тыловым местонахождением, особенно острую в дни победы под Сталинградом.

Синяя птица моей судьбы.
Что грустили вы?
Сели на пень на какой-то гнилой,
Перышки скрыли под серой полкой,
Стали какой-то ни доброй, ни злой,
Птица.
Синяя птица моей судьбы,
Птица моей мечты.
Я называю вас нынче на вы,
А называл ведь на ты...

Он оставался поэтом. И на введение погон после Сталинградской битвы реагировал по-своему. Сообщая жене о возможном приезде в отпуск, написал: «Приеду при новой форме – в погонах, как мой предок М.Ю. Лермонтов». Ведь все поэты – братья...

Вместе с тем он трезво осознавал, что все, что он писал, – не та работа, которой литератор, как своим главным делом, может участвовать в войне. Потому и считал себя «молчаливым поэтом, не пишущим писателем». Для себя он избрал иной род участия – с оружием в руках дойти до «врат Батыя». Таково было его душевное состояние. И главная причина его

молчания. Но кроме этой очевидности, кроме трудностей перехода с одного языка на другой, кроме отрицания им в литературе «поневоле пустых, ибо незрелых слов», вдруг обнаружилась еще одна причина, уводившая его от поэзии и драматургии. Возникло предчувствие грядущего перехода к прозе, в которой, возможно, и будет суждено наиболее полно проявиться его талант. Он упомянул об этом в письме к жене:

«Утешаюсь тем, что как только кончится война, я начну писать роман – большую книгу, которая иногда болезненно ощутимо стучит в сердце, как ребенок восьми месяцев стучит в живот матери. Она уже готова, может быть, и нужно только, чтоб не было войны, а были – ты, Женичка и Ляличка и много белой бумаги на столе. А это будет».

Ему так мечталась его книга, что в какой-то миг представилось, будто она уже в нем.

И о том же – в шутливых стихах, сочиненных в полку в Шуче:

Фабричный город Шую
Наверно, удивлю я –
Куплю тетрадь большую
И книгу напишу я...

По свидетельству сослуживцев, у него и вправду имелась конторская книга, в которой он постоянно делал записи.

Таким образом, к переходу с одного национального языка на другой добавлялись поиски иного «языка» в самом творчестве, поворот «магического кристалла» новой гранью.

В этот период и выпало ему испытание газетой. На первых порах показалось: быть по сему. Но он помнил о своей Литературе и понимал, что публицистика, журналистика – не его призвание. Бригадная газета «Боевые резервы» так и осталась его единственной «печатной площадкой» военных лет. (И на фронте его не потянуло более ни в какую редакцию). Он искал собственный путь на войне, не понуждая свое сердце, а прислушиваясь к нему.

В марте 1943 года он записал в дневнике: «Перечитал еще раз гениальное «Восстание ангелов» А. Франса. Глубоко был тронут этой в четвертый раз прочитанной книгой. Читал главы из синклеровской эпопеи «Зубы дракона». Для моей великой книги – ценное пособие по изучению психологии и практики фашизма и вообще движущих сил современной истории».

За три месяца до фронта он думает о своей «великой книге», готовится к ней.

А перед самым побегом пишет стихотворение «Прощание», которое посвящает своим владимирским друзьям, и просит редактора газеты дать им это стихотворение прочесть.

2

Редактор газеты «Боевые резервы»

Начальнику политотдела

ДОНЕСЕНИЕ

Доношу, что литработник редакции, младший лейтенант Казакевич Э.Г. в ночь на 26 июня самовольно выехал в 51 сд (д. Сулихово). Как теперь стало известно, Казакевич имел заранее оформленные документы на должность помощника начальника 2 отделения штаба 51 сд. Эти документы вместе с выпиской из приказа частям 51 сд (№018) ему были доставлены красноармейцем этой дивизии (фамилия его неизвестна).

В последние два месяца после отъезда полковника Выдригана Казакевич много говорил о выезде на фронт, прикрываясь в таких случаях своим «патриотизмом».

К работе в редакции относился недобросовестно, моих поручений часто не выполнял.

О выезде Казакевича мною сообщено этапному коменданту ст. Владимир, а также отделу контрразведки СМЕРШ в 4.00 26 июня 1943 г.

Приложение: письма Казакевича, выписка из приказа по 51 сд и стихотворение “Прощальное”».

Как в описи, редактор поименно здесь же перечислил адресатов приложенных писем, включая себя.

Конечно, редактор бригадной газеты был обязан *донести* по команде о случившемся ЧП и принять меры к розыску и возвращению беглеца в часть. Тем самым он выполнял все, что требуется от воинского начальника в подобных случаях. Но старший лейтенант поднял также на ноги контрразведку, хотя ни малейшего сомнения в том, что Казакевич действительно выехал в 51 дивизию, у него не было. Он действовал по установившейся в те годы практике. В испуге за себя он также отрекался от подчиненного, очернял его работу. И, озлобившись, взял в кавычки патриотизм своего товарища. Не обошлось и без вспышки скрытой зависти. Разыгрался, как видно, местный вариант сальеризма. Вечная тема, в работе над которой Эммануила застигла война.

В ту ночь редактор бдительно пресек нити, которые человек, поставивший себя, по его мнению, вне закона, пытался протянуть через него к своим товарищам, не дал запутать себя на былой дружбе и сделать, чего доброго, *связным*. Не понадеялся редактор и на самих адресатов писем. А утром в разговоре с назначенным в редакцию офицером из Шуи объявил, что Казакевич *сдезертировал* – на фронт и с документами, полученными от Выдригана...

Через двадцать два года бывший редактор бригадной газеты напишет вдове Казакевича письмо-воспоминание:

Это был прекрасной души человек, замечательный работник. Жить и работать с ним было весело и легко, несмотря на трудности тыла. В редакции кроме него нас было трое, но делал он (зачеркнуто: “за всех нас”) столько, сколько мы все, пожалуй, вместе взятые. Писал он легко и интересно, писал все, что требовалось и в любом жанре – от передовицы о соблюдении армейского Устава до лирических стихов.

И далее – о побеге Казакевича (указав иной месяц – апрель 1943 года):

Утром, когда я встал, койка Эммануила Генриховича была пуста. Я подумал, что он вышел на несколько минут, но тут заметил на столе записку. В ней было написано примерно так: “Настало время расставаться, хватит коптить небо. Я ушел на фронт. Искать меня бесполезно. Передай мой поклон всем товарищам из редакции и типографии”. Когда и как он ушел, не знала и хозяйка квартиры.

Я обязан был доложить об “исчезновении” т. Казакевича командованию. Были предприняты меры к его возвращению, послана телеграмма в Москву, в комендатуру. Но все это было бесполезным, да и не нужным. Он ушел не в тыл, а на фронт, туда, где ковалась победа. Он пошел в самое пекло войны, чтобы потом создать свои замечательные произведения “Звезду” и “Весну на Одере”.

В этом письменном воспоминании отредактировалось все то, что хотелось бы вычеркнуть из прошлого. Бывший редактор «Боевых резервов» цепко помнил о событиях той ночи и о письмах Казакевича, оставленных для командования и политотдельцев и приложенных им сразу к *делу*. Но он веровал, что давние те бумаги пылятся где-нибудь за семью печатями. И потому приводил теперь на память лишь текст «записки». И поклон, по его словам, Казакевич передает только товарищам по редакции и солдатам типографии – как бы косвенное дока-

зательство, что никаких писем в действительности не было. А поиски ограничиваются лишь упомянутой телеграммой в московскую комендатуру.

Со временем память наша настраивается самоуспокоительно, самооправдательно, охраняя в нас спасительное душевное равновесие и самоуважение; она обволакивает давнюю песчинку – неудобную, болезненно-царапающую – красивой жемчужинкой или перловицей попроще. С помощью такого образования, пусть искаженно, скрытно, но все же совестливо, тщимся мы исправить хоть задним числом неприглядные поступки прошлого. (Без царапин, однако, не обходится. Спустя годы бывший редактор бригадной газеты приехал в Москву и остановился у вдовы Казакевича. Весь вечер он оживленно рассказывал, какие они были с Эммануилом друзья, как замечательно вместе работали. В его рассказе не обозначилось даже намек на прошлую вину перед товарищем, ни, тем более, потребности повиниться. Вдова слушала, не перебивала, но в комнате, отведенной ему для ночлега, оставила книгу с материалами о писателях-фронтовиках. В обширной публикации писем и документов Казакевича той поры приводились и пресловутые бумаги, связанные с его побегом из Владимира на фронт. Чуть свет гость исчез из квартиры.)

А Эммануил был добр и незлопамятен. Когда те документы, переданные после расформирования запасной бригады в архив областного военкомата, попали к нему, уже известному писателю-лауреату, во время его годичного пребывания на Владимирщине, он не прекратил переписку с приятелем военных лет, ни в одном письме не подал вида, что читал его донесение, и, откликаясь на его просьбы, даже посылал ему свои книги с дарственными надписями.

Он помнил, какое было время. Учитывал, что редактор был ранен на первом году войны. И повторял: «Каждый грешник имеет право на свою луковку».

Ему удалось избежать проверки документов в поезде, где по вагонам, набитым людьми с котомками и чемоданами, продирался комендантский патруль. Затем он, прибыв в Москву, ловко миновал патрульные наряды на Курском вокзале и привокзальной площади, как бы держа экзамен на разведчика. И уже на Киевском вокзале совсем по-фронтовому пристроился в воинский эшелон, следовавший в нужном ему направлении. Здесь он почувствовал себя почти в безопасности: облава в поезде и московские кордоны были позади, состояние преследуемого одиночки отступило, и он ехал с надеждой, что теперь, когда владимирский Рубикон перейден, все как-нибудь утрясется, с большим или меньшим скрипом.

Месяц назад, получив от Выдригана телеграмму – «жди нарочного» – он написал мужу своей сестры: «Единственное “но”: ПУМВО и мое начальство. Но я, желая уехать, добыю своего. А в крайнем случае... Уехать на фронт – не преступление же, в самом деле! Война так война!» Таково было его настроение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.